



ЛАРИСА ДОВГАЯ

# СЮИТА ДЛЯ КОЛПАСОНА С АНСАМБЛЕМ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ

Лариса Довгая

**Сюита для колпасона  
с ансамблем. Рассказы и повесть**

«Издательские решения»

**Довгая Л. П.**

Сюита для колпасона с ансамблем. Рассказы и повесть /  
Л. П. Довгая — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-835122-8

Жизнь такая же мозаика, как и лоскутное одеяло — в одно летящее мгновение один плачет, другой смеется — у каждого свое понимание, свой качественный лоскут бытия, но все вместе мы и складываем узор текущего мгновения из солнечного или лунного света, снега или весенних листьев, морских волн или камешков на берегу. Наши улыбки, слезы, шаги, музыкальные такты, разговоры не проходят бесследно в этом мире. И каким будет мир после того, как мы уйдем, зависит от того, что мы думаем и делаем сейчас.

ISBN 978-5-44-835122-8

© Довгая Л. П.  
© Издательские решения

## Содержание

И ангел крылом...	6
И ангел крылом...	6
Птичьи следы на черном асфальте	10
Аватарка	14
Только предлог	17
Рассказы маленького человека	22
Все будет как надо	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

**Сюита для колпасона с ансамблем**  
**Рассказы и повесть**  
**Лариса Довгая**

© Лариса Довгая, 2016

ISBN 978-5-4483-5122-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## И ангел крылом...

### И ангел крылом...

Солнышко покажется из полоски тумана над озером, чуть осветит двор и изморозь по зеленой травке, дымка холодного неба затянёт этот утренний свет. За этой пеленой, опадающей мелким дождичком, и путешествует солнце по небу к чернолесью за речным поворотом, покажется ввечеру на зубчиках черных елей великое, красное и от тяжести своей валится вниз, а свет и жар его еще долго отражаются во вновь явленных облаках. Самое время молиться да ужинать. А потом – ночь длинным-длинна, и все кажется, что к хлеву подходят волки. Всей живности – шесть кур с петухом, да и тот ледащий, путем не прокричит, а как жить в пустом месте без петуха?.. А ночью показываются звезды, как свечечки пред ликом Господним, и торжественно тогда, и тихо, как в начале времен, а люди непорочны по земле ходили.

Колодец старый, но ворот не скрипнет, вал так уж притерся, что идет ровно без смазки, резное колесо в рост для легкости хода, вертится плавно, что танцует. Когда дядя Даниил женился на тете Дуне, так и выкопал, и смастерил этот колодец-игрушку с прочным срубом, легким воротом, да резным шатром, чтоб молодой женошке легче было. Родили они пятерых, двое в войну детьми умерли. У остальных после сорокового дня я и купила их дом. Вместо пятисот (цены-то, цифры были!) дала им пятьсот десять рубликов, чтоб на троих разделилось. Бумагу оформили, водочки выпили. Где дядя Даниил, где тетя Дуня? А дом стоит крепкий и тепло держит, и колодец, вот, под шатром резным на месте стоит. Вода в нем холодна и хороша как утро, а с самоварным дымком, да щепоткой заварки, да с тем, что еще найдется к столу – куском рыбного пирога, вчерашней картошечкой, конфеткой, – вода добрая наполняет силой и решимостью прожить и этот дарованный день.

Оглянуться не успела – лето в конце! Заморозки по земле, в огороде один укроп-самосевок... Сколько картошки перетаскала! Но спина выдержала, а это хорошо, это надежда в доме. Все за лето сделала, дрова пилила, рубила, огород весь в порядочке, и большой боли в спине не было с весны. Мне бы не перегружаться, где частями в мешке тяжелое занести, где колясочкой притащить, – спешить некуда... А эта боль, укладывающаяся на несколько дней на лавку в нетопленной избе, – ни на помощь позвать, ни воды принести – пощады не знает...

Лето прошло-пролетело, одним летом прибавилась жизнь, все ходики на стене тик-так, и где они, дни светлые? А жить было трудно, – так хотелось жить, дитя выводить на свою радость, ломить с утра до ночи... И только ли день тот виноват, и машина, из-за автобуса бросившая на РАФик, и женщина в нем, закричавшая: «Уберите это, прекратите!»... Эта боль в спине пришла только в больнице, но как сильна эта боль! Нечем было поблагодарить доктора. Всех сбережений на лечение, да на этот вот дом хватило в забытой человеками дедовской деревеньке, куда и дорога былшем поросла. Но хватило же, но повезло так, что этот дом не успели разобрать на дрова! А остальное пусть будет девочке, у нее своя жизнь. И как дожить, не намучав никого? Но я попробую, я постараюсь.

Как дед Саша из Лутовина. Шел умирать к людям, – нашли на дороге замерзшим. Как тетушка Марья Павловна. Сама пришла вечером в районную больницу. «Сил, – сказала, – больше нет». А утром – готова уж с улыбкой на устах. Так и надо, – до людей дойти суметь, не залежаться. Не смогла я в жизни сделать хорошего, не успела. Теперь и другие бы жизни собой не губить: инвалид-ид!

Нет, просто так я не сдамся! Вот, с огородом управилась, телевизор старый купила, сама привезла в детской коляске. На кухне стряпню затеваю, а он мне новости рассказывает. Кот у меня, Мурлыко, в рыжих пятнах весь на кошачье счастье, ласковый, на мышей исправен.

И курочки по двору ходят, и петух голосить пытается. А еще мне велосипед подарили, – дребезжит от старости. Перебирала его, мыла в керосине, благо, что инструмент у дяди Даниила в порядке полном. Хотела еще два колесика на него для устойчивости прицепить, да где там! Так и вожу за руль, две сумки навьючу, ходим. Даже в город ездила: у дороги привязала веревочкой к дереву, так и стоит. Кто ж на него позарится?

Так и есть одна на белом свете. Дочка что ж... У матери моей работа кровь выпила, моей жизни немного осталось, ей до лучшего времени дожить надо, да еще и внука поднять. Не все времени лютому на дворе стоять, вечного ничего не бывает. А пока только хороним друг друга, родные.

А люди еще есть. Вот дед Василий. Пасеку держит, меня пчел водить учит, рой обещал дать. Я уж пробовала улей выстругать, он еще не видел. Скажет, верно, все не так. Говорит, пчелы жалят в пользу. Особенно при спинных болезнях. Пришлый он у нас человек. Появился, может, в пятьдесят пятом году, одни медали, да орден в коробочке. У лутовинской Лизы спаленку снял. На конюшне работал, потом почту носил. Лиза-то без наследников померла, сыновья у нее молодые с войны не пришли. А Василий в сельсовет деньги за избу отнес, говорит, привык своим жить. Поперва нелюдим был – слова не вытянешь, а пчел водить стал, – изменился человек. И чего про этих пчел расскажет!

Собирались в Лутовине по деревенской привычке на Успение, раньше у нас там и часовня своя была. Молодые работают, не до нас, а мы – старички. Бабушке Дарье скажешь «старая», так рот прикроет уголком платочка, и давай смеяться... Мне-то и полтинника не выдано, а соглашаюсь: старая! Сидим на лавке в красном углу, все в белешеньких платочках, Мотря ногами болтает в тапочках кожаных. До того все хороши, что смахни с них возраст, как насевшую пыль, да пересади на облачка, – вот и ангелы. А Василий от внимания стольких женщин самовар на вытянутых руках несет.

Не обошло его, какое счастье привалило! Сын нашелся в городе Свердловске. Приезжал ладный, веселый. А тот ему: мальчик, да мальчик! А потом, кремень-то, Василий наш возьми и заплачь. «Жена, – говорит, – дивная девушка была, черная коса колени доставала!» И чудно, мальчик-то нам, деревенским, гостинчики привез, верно, Василий про нас расписал. «Поедем, – мальчик говорит, – у нас как дом сносили, так квартиру небольшую дали, сам знаешь, каково без родных...» А Василий посмотрел отчего-то на меня, отвечает: «Нет, был бы неладный сын, – поехал бы, а так ты и сам справишься». Как-то спросила его: «Как ты у нас оказался?» «А взял, — говорит, – карту, да и ткнул карандашиком».

Вон еще крыша у реки, под пригорком, как спички горелые стропила торчат...

Живешь так, живешь, чудная картина перед глазами разворачиваться начинает: мир живой, нежный. Солнца еще нет над озером, а вода уж светлым молоком отливает, потом и заблестит, как нож в дереве. Туман отходит по розовой дорожке, а там уж и край золотой, осиянный. Милости просим, солнышко! Все пташки, что ни на есть, проснулись, все травки распрямились, все веточки в движение пришли! Сова на ели сидит, перья сушит. Скр-р-р! – ворот завертелся. Фр-р-р! – самовар заговорил.

...Только стропила горелые эти, мертвые, – это ж дедушкин дом родной! Наличники зеленые по питерской моде резаны, крыльцо в завитках, лесенка с балясинами... Я ж еще ходить не умела, а по лесенке этой уж ползла – вверх, вверх, и еще немножечко! А бабушка на керосинке малину варит, как не дать внучке розовой пенки? А она горячая! Деда уж не было, когда я родилась, умерла бабушка у тети Веры в промозглом Питере, умерла тетя Вера, – царствие им небесное! – и поселился в том доме дядя Егор, муж тети Веры со второй женой. Все хотел дом продать, про меня не вспомнил, вещи все увез, я лишь самовар взяла, Зинка, двоюродная моя, отнять ему не дала, милицией пригрозила. Думала, что потом побьет. Да вступились бы! Даром, что каждый на своем пригорке сидит, уж не деревни, а названья деревень

сторожат, а в магазин-то все в один идут, а Зинка в нем главная! И такой на Егора зуб имеет, что тот ко мне за керосином ходил.

Приезжали Егор с новоявленной Настей каждое лето, огороды прихватили соседские, картошкой торговали, луком, по пустым избам шарили: что плохо лежит? В аккурат на Ильин день ветер вдруг поднялся. Что ветер, буря! И заволокло небо тучами черными, и молнии в руку толщиной в землю били. У нас липу свалило старую. Ах, жаль мне ее стало, пошла глянуть, а дедов-то дом без крыши стоит! Егор туда-сюда: рубероиду ему. А у нас, говорят, и своим пенсионерам, колхозникам не хватает. Сидел как ворон на жердине, но полкрыши облатал. Ладно, время идет, часы стучают. Укусила Настю медведка в огороде. Что за нечисть такая, – отродясь не слыхивали, а поди ж ты, укусила. Насте плохо и плохо, температура, – горит! Тот – в город ее, в больницу. Обрато ехал, – бутылочку прихватил, самому подлечиться. Подлечился, – едва вместе с домом не сгорел. Пришел утром сатаны страшнее: «Купи картошку на корню». «Вот как, – отвечаю, – ты моего полдома спалил, да еще за работницей пришел, спину не до конца сломала!» И на сеновал его спать не пустила. Забрал тот Настю, уехали. А Зинка с мужем картошку выкопали, мне сто рублей принесли: «Твоя доля». «Зин, а деньги-то у меня за киотом, разное бывает». Отшучиваются. Им так и положено, печали не нагонять, но что к делу – поняли.

Но это все так, к слову.

Жила я себе жила, как люди живут. Утром на работу: дитя в садик собери, в школу, сама в автобусе натолчешься, да еще бы молока купить успеть... В обед – перекусить в столовой-тошнилровке, да где бы продукты раздобыть. Напахался, тут и начинается: еду приготовить, подшей, постирай, там утюг сломался, тут на чулки денег нет. Хлопнешься в постель, а в глазах черно. В голове пусто: завтра все сызнова. День за днем – ушли мои годы. А куда ушли? По асфальту, мытому от дождя до дождя, по желтым листьям, по снегу изгаженному... Ту обувь, что носила от дома до работы, да редко в центр, отдаешь сапожнику, – где износить успела? Но все та же девочка, не сидела же я, ползла по своим ступеням, как ждет где малиновая пенка... Но словно кто изгалялся над невольными, отнимал, убивал бесценную жизнь, а ведь дал ее Бог от дивного сияния Своего, но на что ушло Его благословение? А самое страшное, что поняла это только сейчас, на угасающей заре, когда ни поправить, ни навестать, – как болит спина... И я не могу закричать: «Уберите это, прекратите!», как не могу пойти в дедушкин дом, чтобы не видеть обугленные бедой балясины...

Я не видела, как умерли бабушка, тетя Вера. Все казалось: войди в дом – и найду их! Пилят дрова у сарая, поругиваясь, или ушли в магазин, даже в город, но подожди – и вернутся. Не могу принять, что их нет: ветер стонет, слышу – зовут или плачут. Слышу с дороги, куда выходит окно светелки. Из окна видна старая черемуха, где стоял дом прабабушки Прасковьи низенький, простой. Под рябиной крапива – тетушка Анфиса жила, дальше, за двумя елками – Ангелина Акинфовна, на скате под липами – Алевтина Афанасьевна. Оставили, бросили: живи как знаешь, твой срок. Ну, пойду я за ними по той дороге, словно впрямь, что понимаю, ну, до поля дойду, травой заросшего, на взгорки посмотрю голубые, на деревни оставленные. Ну, на колени встану, зареву, но встану: беда над нами, родные! Так и глаза жжет: не то Мамай с пожарами прошел, не то поветрие моровое, смолу палят, – черная гарь по стране летит!

Да мне ли звать тех, кто на погост отправился, отпахав, отстрадав свое сполна? Страшусь встретиться лицом с ними, ну как спросят, что и могил их досмотреть не сумели? Что скажут и прабабушка Прасковья, и прадедушка Серафим, что скажут уже безымянные, кто предков моих на руках качали? И я не зову их, молчу. И в ответ мне ни слова, ни прощения...

А у нас все солнце всходит, да петька горланить пытается, и дожди идут, и птицы летят, и поруганная колокольня смотрит на все это. Я недавно была там. Железная дверь на замке. Свод еще не разрушился, и это хорошо. А кругом – крапива, да море разлитое иван-чая. Я набрала листьев, промяла, чтоб сок выступил, лишь потом подвялить, да засушить на печке.

Нарочно обошла кругом всю церковь, потрогала ее тесаные камни, они от времени совсем гладкие. Хотела по старинке под окном послушать: не «...упокой» ли поют? Тихо. А увидеть бы паникадило светящее, и люди, все деревенские, наши, Символ поют, и – ангел крылом осеняет! Нарушили святое жилище. Теперь как есть сироты...

А когда спускалась с горки, у прудика меж тальника вдруг поняла, что не все ушло, а обратилось в какую-то тайну. Именно тайну, таящуюся под гладкими камнями, в елях, сторожащих погост, на песчаной дорожке, размытой дождем, в запахе березовых листьев, тучах на небесах... Она есть, она живая, она дышит! И, главное, – она нужна нам, одичалым, измученным. И теперь я ищу ее.

Может, это последнее, что я смогу сделать, но я найду ее целебное слово, и прежде, чем и мне придется ползти, умирая, из дому, я положу это слово на еще теплую грудь, к бьющемуся в клетке сердцу. Кто найдет, того, может, и спасет оно. И кто-то одумается, увидев, наконец, настигающую погибель. Пусть не всем, а одному, – мне не жалко, пусть человек прикроется мной или этим исковерканным вслепую телом.

1992

## Птичьи следы на черном асфальте

«Родник любви» – и вода ожгла – холодная, чистая, выплывающая плоскими струйками из недр нависающего взгорка. Только не смейся, мало ли что примерещится спросонок. А вода стекает с лица, обвивает шею... Но что блеснуло в ней теплым утром раннего мая, когда солнце еще раздумывало, показаться ли из-за горы, а долина в сиреновом туманце еще не снимала ночное белье? Лишь бесцеремонный рассудок жестко выговаривал слово за словом: «Подумаешь, дали тебе воду из рук в руки, как ты говоришь, любимый, ты давно и благополучно все забыла, ты стара, без сантиментов, у тебя не разгибаются отекавшие ноги, а если талия еще и есть, то ты все равно ничего не добила в жизни, тебе смеются в лицо!» И он был прав. Но точки, которая подразумевалась и требовалась, я не поставила. Поставила запятую, взяв паузу, и попыталась вспомнить нечто очень важное...

Светка, как механическая машинка, что-то рисует кончиком туфли на песке.

– А ты знаешь, что он со мной встречается?

– Делайте что хотите...

– Так что я прослежу, не будешь ли ты звонить.

– Это от себя, или он попросил?

– Это его желание.

Она жаждала победы! Пришлось недоуменно пожать плечами и заметить, что ее ноги не совсем подходят к этим туфлям, посоветовать изменить походку. Будто что-то можно было переменить! Победа улетучилась, и она показала зубки.

– Ты же знаешь, какое положение он сейчас занимает, и женщина рядом с ним должна быть не чете тебе!

– Ты что ли, того стоишь? У тебя, конечно, и папа с креслом под задницей, барашки бумажками несутся сами, и у самой вторая задница в бюстгальтере, можно и мужика прикупить по экстерьеру...

Она изошла на шипение:

– Я тебя уничтожу!

– А третья – промеж ушей!

Фейерверк! Но острый край камня рассек мне ухо, и предательски подвернулось колено. Да, до такого опускаться еще не приходилось.

Это с тобой мы так и не поговорили...

Могла б накрутить телефон, чтобы просто услышать этот тенорок, отдающий валерьянкой, – вечный обман, но тешит – все к месту, все правильно, все к лучшему... Не позвонила. Не снизошел и ты. Не сказал, не написал сам. А если бы я пришла к тебе – все б началось сначала. Но я не согласна на меньшее, и не было той силы, которая б повергла меня!

Горько пахнет тополями, женщины умываются у родника, подмурлыкивая что-то в нос. А моя музыкальная память, как и вся жизнь, вдруг подсунула немыслимое. «Аве, Мария!» – проснулся голос. Расправились по старинке плечи для воздуха в застоявшиеся легкие и, поперхнувшись сигаретным дымом до слез, вдруг понимаю, что помню все, даже слова иноземной молитвы, затесавшейся в русское сознание. Усмехнешься от взгляда за кулисами:

– Хороша! Чертовски хороша!

Унимаю дрожь в коленках, чтобы с улыбкой на высоченных шпильках проплыть к роялю – сейчас под жестким светом надо положить правую руку на крышку и посмотреть прямо в шелестящий голосами зал, немного наклонить голову в приветствии этой черной про-

пасти. Вступление... и я пою, и я слепа. Но вот аплодисменты, вновь улыбка и вижу, как эта толстуха рядом с тобой уплетает батончик.

Светкин папа любит детей – меня выкинули с работы в два счета. Выставили двоих – меня и канцелярскую мышку Лиду за шибкое знание законов о труде. Вышли из проходной, чувствуя себя вполне свободно, как осенние листья на ветру, посмотрели одна на другую.

– Кофе дернем? – предложила она.

Это мы еще могли себе позволить. Она уже узнавала, что работу ныне найти практически невозможно, а без великой протекции и с желтым билетом – только на стройке. А какие из нас при таком-то сложении штукатурки?

Мы пытались не расставаться: до осени мыли посуду в какой-то забегаловке на пляже, вечерами устраивая маленький пир из остатков, потом я пристроилась дворником, а она...

Взмокли бы со смеху все в коммерческом автобусе, набитом товаром, и выползшие на санитарную остановку с отхожим местом у дороги и родничком поодаль, – но хочется тронуть голос, бывшее меццо. Как прозвучал бы в сонных утренних горах, по листве горьких тополей у большой дороги, по птичьим следам в нотных линейках – дорожек, по которым прошла душа некоего Шуберта, по черному от шин асфальту шоссе, где бьется моя, – Аве, Мария!

Все измучены тяжелой дорогой и уже не ссорятся по пустякам – просто пьют, отрыгивая вчерашний перебор и не зная с утра: опохмеляться или продолжить дальше? Домой доберемся лишь к вечеру. Где-то дремлет себе комнатка с распускающейся сиренью за окошком в терпеливом ожидании: где носит тебя? И зачем бы вся мука и натиск торгующего люда, вопросившая словами Ленки, разбитной девицы:

– Я-то каждый месяц ежжу, при деньгах, а ты кто?

А я не скажу. Не знаю. Человек, которому жилось прекрасно и больно на этой планете. И было же что-то свое, невиданное, неведомое, вдруг проснувшееся на днестровском мосту под тяжким взглядом джинсового молодца, поднимающего автомат, и, при всей моей инженерной нежности к железу, вдруг все прошедшее и все будущее оказалось меньше круглого отверстия в стволе.

– Казаки?

– Нет, – и ангел-хранитель купно с бесом противоречия добавили, – к сожалению.

«Родник любви...» – примерещится ж...

– Расстреливать! – Закричал в троллейбусе тщедушный старикашка на переднем сиденье. – Расстреливать, кто не работает!

– Ну, зачем же? – Добродушно возразила полная женщина, похожая на мужчину. – В тюрьму. На пять лет – достаточно. А если и это не поможет – расстреливать! Народу-то жить надо, – пояснила непонимающим.

Лидкины глаза наполнялись безумием.

– Слышишь? – Отчего-то шепотом спросила она. – О какой любви ты говоришь? Мы ж давно только жареный хлеб едим, больше ни на что нет. А если заболит кто, умрет?.. А это хорошо, если меня расстреляют. И не мучаться. И за казенный счет.

Она вдруг успокоилась, словно нашла что-то, устала в угол, потом подняла свои огромные волглые глаза:

– Правильно они говорят. Расстреливать!

– Лида, нынче за товаром люди ездят, дернем?

– А потом на рынке торговать?

– И на рынке торговать.

Но она безнадежно качает головой:

– У тебя спирту еще не осталось?

Да что в голову взбрело: торгашки, тополя, или спивающаяся Лидка, наконец отдавшая своего ребенка в интернат?

– Не отставай! – Челноки живописно расположились на молодой травке неподалеку.

– Говорю ему: дурак, зачем она тебе? Ну, миленькая, да с рожки не воду пить! Обуза на шее – ни за душой, ни профессии подходящей. Ты же, говорю, парень отличный – и одет, и на ногах «Саламандра», и жилплощадь! Найди себе бабу шустрюю, она и в доме, и в дом, а книжки продай, цена стоит...

– А с шустрой тут у нас тоже история была...

Ленка мучительно краснеет и зажевать слезу достает конфету – большую бяку на палочке, но, лизнув пару раз, спохватывается:

– А у меня конфетка есть! – И, повернувшись к напарнице Анюте, завертела ею так и смяк. – А у тебя нет. Такая конфетка вкусная, на нашем рынке такую не купишь. А будешь паинькой – дам откусить конфетку. Такую конфетку вкусную...

Та хлопает воистину анютиными глазками, открывает рот, переводя дыхание:

– Дай попробовать!

– А не дам. Ты скажи: Леночка! А ты скажи: милая. Скажи: ты лучше всех на свете!

– Леночка. Милая.

– Лучше всех на свете!

– Лучше всех на свете...

– Необыкновенная! Красивая! Добрая!

– Небыкно...

– А то еще случай был!

– Нет, говорю, я вас, дураков, наставлю: или будете своим умишком жить и лапу сосать, на товар смотреть только...

Нет, я еще не все вспомнила... Ночь за низким окном, снег мерцает синим от холода, прохожих уже нет, тихо-тихо. Я вхожу в комнату, еще глухая с мороза, и тепло ее обволакивает меня. Ты не включаешь лампы, и только снег светится за окном.

– Пришла. Наконец-то. Пришла.

И голос твой, и рука, едва коснувшаяся виска – я б сидела у этих ног, чтоб не ведасть стука часов! Но будильник тикал со столика. Я ловила, я пила каждую минуту этих безбрежных ночей. И не могла напиться. И день, и жизнь оставались за окном, в снегах, и пока длилась ночь – каждое мгновение было мое. Только будильник – механическая машинка – все подсчитывал, чтобы в самый сладкий сон взорваться миной реальности.

Дружный хохот толкает в спину, и смуть слезы к роднику бежит Ленка. Я отворачиваюсь и отхожу немного в сторону, но уже спешит верная Анюта:

– Ленка, ты чего?

– Да нет у меня таких денег...

Большая Анюта сажает на колени хрупкую Ленку, по-обезьяньи обнимая ее.

– А мы к гадалке сходим, и не увидит он у нас счастья ни с кем. Ты же у нас необыкно...

Но Ленка уже не плачет.

– Подпалю! Всю его мастерскую – бензинчиком. И подпалю-у!

И Анюта макает Ленку головой в воду.

Говорят, время излечит раны. Бред. Как будто у нас не одна жизнь, а на дороге не асфальт, а сплошная сирень покоя и розы любви. Срывай любую – твоя!

Куда мы ехали, когда я заснула на заднем сиденье? Проснулась и все смотрела на твои волосы и рубашку в полосочку. Куда мы ехали? Машину ты оставил там, у дороги, но зачем было останавливаться здесь – не объясняться ж в любви? Это слишком похоже на правду, чтобы быть истиной! Я умылась после сна и напилась из твоих рук, потом запела. И голос взялся, зазвучал за убегающей водой, руки, липкие от черной черешни, теплое плечо под полосатым воротом рубахи: Аве, Мария... Здесь уже ничего не изменишь. Но как ты мог отказаться от меня? Не перебивай, мой день говорить! Все ты знал. И рассудил обо мне здраво: карьера есть карьера, а я не буду подбирать крошки с чужого стола.

Кто-то обучит попрошайничать – раб, тебя продали. И еще купят. Но я буду дома кататься по полу от боли. И думать, как бы черное крыло моего несчастья не коснулось и близких...

Я ударила Лидку и бросила ее в чулках в ванну: откисай! Она замолотила руками в дверь: – Отпусти! Отопри свободному человеку! Ты уже всех продала, торгашка проклятая!

Я открыла щеколду, и она по инерции выкатилась в коридор и оторопела, обнаружив на себе чулки.

– Лида, так говорят те, кто может стать счастливее на тысячу. Или на бутылку. Сколько стоит бутылка?

И она поплелась в ванную.

Я везу ее сыну ботиночки, чтоб не задрали родительской бедностью. На закате дня в дымке желтой пыли покажется вдали город и – не вздохнем облегченно, ибо там – шаг за шагом, дыхание за дыханием, от дома к дому гуляет вихрь ненависти, вихрь неурядиц, усталости, скученности – мятется по проспектам ненасытный, властный, заставляя людей кружиться в заколдованном круге, а сам с мечом в руке – пронзает то одного, то другого...

А мы сидим у воды и каждый ясно или смутно осознает, сколь нечасто бывают такие минуты, словно оторванные для себя у беспощадного времени как дары судьбы. Только чистый ключ являет свой голос. Еще немного – и красный автобус вновь помчится по асфальту, но солнце уже играет в листьях, и ветер, обволакивающе-теплый ветер летит с юга, и можно начинать забывать и тяжкую дорогу, и потери, расплаты за место под солнцем. А ждут меня маленькая комната и сирень за окном. Лишь на ночь я плотно задерну шторы, но, прежде чем все начнется сначала, может, вновь услышу шум родника и с тем встречу новое утро.

Что-то хотела сказать тебе... Это я разбила будильник – пусть никто больше не боится его бдительного стука. А когда ты попросишь у судьбы Свою минуту, Свой час счастья – она неизбежно напомнит, она покажет тебе меня. Где-нибудь на обочине, у шоссе, которое вдруг станет черной полосой твоей жизни.

Прощай!

1994

## Аватарка

Мусоровоз опрокидывал контейнер в чрево. Ревели насосы. Емкость побряхтывала, словно не желая отдавать содержимое. Вдруг серый комок сам собою отделился от грязного потока, подпрыгнул, подкатился к замшевой туфле. Виднелся только резиновый хвостик. Носком перевернула его, и на меня уставились веселые синие глазки на чумазой мордашке игрушки.

– Кидай сюда! – Любезно крикнул рабочий в зеленом комбинезоне.

Зверек, как это бывает с детьми, хотел на руки. С руки заячья мордочка показалась еще забавнее, но, главное, кого-то сильно напоминала. Кого? Да меня же, меня!

– Можно я его себе оставлю?

Рабочий хмыкнул:

– Ну такой красивой женщине разве откажешь?

Ровесник. Те, кто помоложе, уже не останавливают взгляд на моем лице.

Улыбаясь, помахала ему находкой, тот удовлетворенно повертел головой. А зайчишка оказался в свободном пакете поверх содержимого рабочей сумки, – что делать, чтоб не перепачкал...

Дома резиновый прыгун в том же пакете был посажен на кухонный стол. Надо присмотреться друг к другу. Поругивая себя, что не могу оставить ночные смены, прислушиваясь к молчаливому протесту усталого организма, принялась за простые утренние дела, которые при неспешном исполнении всегда успокаивают, дают толику радости ровно на улыбку: сварить кофе, достать любимую чашку, смыть теплой водой прилепившиеся рабочие запахи. А заяц сидел с таким видом, словно он всю свою крошечную жизнь мечтал попасть именно на эту кухню.

Наконец, кофейная пенка поплыла у верхнего края, купленное печенье из коробки переложено в вазочку, а на освеженный организм накинута цветастый халатик. Можно спокойно рассмотреть прыгуна, познакомиться.

А тот всю радулся продолжающейся жизни, мой кофе его не прельщал, присутствие не беспокоило. Ну, погоди... Весна подступает, зеленые пластинки нарциссов землю прорезают, пора фотоаппарат доставать. Аккумуляторы в норме. Эх, все же придется штатив покупать, опять расходы...

Со столешницы раскрытый пакет переместился на зеленое полотенце, никак солнышка луч прорезается. Как звать тебя, натурщик? Хотя, что спрашивать, если и так на морде написано: «Зяя!» Нос облез. Вот дела! Фотографироваться в таком виде неприлично. Пришлось черным фломастером колер править...

Весна. Легкое безумие. На крошечной кухне некая тетка припрыгивает вокруг коробки от печенья на расстеленном зеленом полотенце, на котором красуется дешевая обертка с торчащей оттуда башкой-луковкой. Существо улыбается, готово фамильярно подмигнуть и приятельски помахать откушенным ухом: даешь ракурс!

Устало опускаюсь на стул: как же я забыла?.. И опять готово застонать сердце, и так хочется впустить в себя и запах пота именно этой жительницы Земли, и влагу готовящегося пролиться дождя, и застоявшуюся тишину горного кладбища. Но не с такой же усталостью...

Но тень уже вошла в дом, стукнула в стекло первой каплей, легла на обивку стула напротив.

– Опять глупостями занимаешься?

Сказать правду, или поискать возражения? И то, и другое уже было.

– Наши миры не совпадают.

– Не можешь ли быть вежливее? Некрасиво напоминать матери, что она уже на том свете.

– На одном свете мы жили в разных мирах. Мир каждого человека таков, каким он его способен воспринять. А мы такие разные...

– Ты всегда пререкалась, противная. Притащила с помойки грязную игрушку, поместила на стол для еды! Купила фотоаппарат, а деньги не зарабатываешь. Это глупо!

– А что ты предлагаешь?

– Я тебя предупреждала в свое время! Не надо было уходить с узла связи. Всех начальство испытывает: насколько человек готов служить!

– Служить бы рад, прислуживаться тошно! Далее – по тексту... Производство. Опять производство, работа! От слов «раб бессловесный и советский». Если угодно, производственная, мы так и не смогли понять друг друга, что работа тебе была важнее детей!

– Я зарабатывала. В отличие от тебя. Оказывают ли уважение тебе твои дети?

– Меня просто любят. И этого достаточно. И я любила тебя. Вне зависимости от производственных успехов. Но тебе то было дороже. Ты жила там, где-то. Без нас. И умерла в пятьдесят четыре, потому что другого мира у тебя не было, ты боялась другого! А в нашем мире не было матери. Так что же ты хочешь?

– Мне отвратительно, что ты занимаешься глупостями!

– Но почему ты мой мир воспринимаешь только как глупость?

Тучка сбежала с солнечного диска, и обивка напротив засветлела.

И верно, зачем было тащить этого зайца? Потому, что похож на меня? Похож. Повернулся веселой мордочкой к ласковому солнышку, радуется. И перемазан, словно ребенок после игры во дворе. Надо сейчас же сфотографировать, пока кадр дышит.

А этот баловник позировал с удовольствием. И на коробке, и на полотенце, и с вазочкой в обнимку. Обормот. Негодник. Великолепно торчали два передних зуба, и огрызок уха лихо контрастировал дырой, всей вселенной подтверждая, что боевые шрамы нам не помеха. И если я раньше символом оптимизма считала незабвенного Ваньку-встаньку, то Зяя затмевал старые представления. Своей звездностью. Доверием миру. Своей философской радостью собственного наличия.

Снова тень набежала от окна.

– И верно, похож! Синеглазый. Твой портрет.

– Скульптура.

– Ты бы его от грязи, от инфекции отмыла средством для посуды, что ли... Помнишь, как маленькая играла?

– Помню. Но он мне службу служит. Будет картинкой, аватаркой.

– Все детские фантазии...

– Без фантазии и платье не сошьешь.

– А не боишься дурочкой прослыть?

– А мне все равно. Вчера видела твою Свету, вместе в троллейбусе на работу ехали. Старая, облезлая, сто килограммов весит, рессоры скрежещут. А она ведь моложе меня. Но без фантазий. Образец кухонного благоразумия. Ни единой мысли в голове. Ни единого штриха жизни на лице. Страшно. Люди обходили ее, даже рядом на сиденье никто не позарился. Дети ушли из шикарной квартиры, бывшего мужа полиция разыскивает...

– Милиция.

– Это уже все равно.

– Но не будь равнодушной...

Пауза затянулась.

– Ты же знаешь, что он ушел к этой... дебилой домохозяйке за щами...

– И от меня ушел. К бездарной, но на семнадцать лет моложе. Знаешь, такие стаями крутятся на путях людей известных, людей искусства. Чтобы потом называться музой...

Тень скользнула по чумазой мордашке. А зверь, открытый солнцу и миру, не сдавался – блаженство бытия разливалось от него по столу.

– Так это твоя новая муза?

– Муз. Музик. Мурзик. Вдохновитель и поучитель.

Тень заколебалась, словно от смеха, растаяла. Но показалось, что маленькая девочка всхлипнула за плечом.

Мы ровесницы, мама! И я переступаю порог новой, не виданной мною жизни. Ты не смогла показать мне этого.

Луч отразился от черной носопырки пришельца.

Он будет теперь работать мной – чумазый, синеглазый, трогающий сердце. Его изображение на двести пятьдесят шесть пикселей заменит мое фото десятилетней давности. Зачем демонстрировать свои морщинки и трясти сединами? Я всегда красива. И служит мне в том аватарка, портрет по существу, Зяя, предыдущее воплощение и снисхождение высокой души до бренности бытия.

Благодарю, Господи! Я продержалась.

Спать. Спать...

## Только предлог

Все врут о любви.

Любовь – это огненный горн, в котором выплавляется золото, и отходит шлак.

А если золота души нет в человеке, как его переплавишь?

Любовь – это звезда. Человеку с поверхности земной кажется она далекой и несостоящей.

А подойди ближе – и окажется именно твоим солнцем. Уйдешь ли от него?

Но вместо звезд привлекает внимание бульварный фонарь: ярко и общедоступно. А еще проще – картинка того же фонаря в цветном журнальчике, или на экране, даже из дому выходить не надо, что уж искать по всему миру, с его морозами, ветрами, зноем? И с высоты дивана так хороша сказочка, что чья-то знакомая видела настоящий фонарь!

Сидеть, сявки. Я говорю.

Что вы устроили недавно?

Троллейбус. Младая воспитательница (или до сих пор сохранились пионервожатые?) везет группу девчушек-недоростков. Поверх коротких куртяшек (на февральском морозе), поверх неоформившихся грудок – яркие валентинки с красными бантами. И млеют: едем знакомиться с мальчишками. Подарят им записочки с чужой руки по валентинной форме и будут любить! Как настоящие люди!

А пионервожатая, знакомая с любовью по картинкам и по грязи медицинской, давно готова ко всему, везет малолеток «знакомиться», предварительно уложив в сумку коробку презервативов. Мол, все можно, день святого Валентина.

Когда отцы вели дочерей в белой фате к амвону, слышно ли было о подростковых самоубийствах? Смели ли воспитатели вверенных им детей водить «знакомиться»?

Вы не увидите любви в силу ничтожества своего.

Горько.

«...дымовая труба, дымоход, обмуровка видимых повреждений не имеют...», – привычно выводит рука в дежурном журнале.

Были дни, когда я, взрослая женщина, приходила на работу в полнейшем изнеможении. Не помогали сон, питание, таблетки. Из последних сил делала вид: все хорошо!

А перед тем я умерла. Мне сказали на Земле, что я недостойна любви.

И я умерла прежняя. А новая – еще нарождалась в страдании плавильного горна.

– У тебя, что называется, сложный случай сотягчающими обстоятельствами... – подруга Люська морщит свой психологический лоб. – Предложение он тебе делал, на колено становился, ручки-ножки целовал. Во второй раз предложение было принято, ты ему доверилась... Тут просто так по учебнику ситуацию не считаешь...

Достаю припрятываемый НЗ – фляжку с коньяком, отсчитываю в чашки с кофе по пять капель.

– Лучше бы меня пристрелили...

– Это мы проходили. И не это тоже. Чай, не девочка-малолетка.

– Ты так и не поняла... Это как выхожу – руки крестом ко всему миру. Вот я. Я люблю. Стреляйте!

Она достает издавший виды журналистский ежедневник, листает.

– Ага, вот случай. Вспоминает бывший ученик школы номер... кхм... неразборчиво, – зачитывает. – «Был март 1949 года, мы, второклассники, пошли с нашей учительницей В.И. (странно, только инициалы, как же я записывала?) на прогулку в парк Демьяна Бедного (ну, это сейчас парк Фрунзе, других названий что ли для приморского парка не нашлось?), прошли на берег бухты за старой лодочной станцией. Все радовались первому весеннему теплу, и В.И. смеялась с нами, разрешила поднимать мокрые цветные камушки, мы вместе рассматривали их. Вдруг с ней что-то случилось, она вся дрожала. Вновь построила нас парами и вывела на центральную широкую дорожку парка, приказала расходиться по домам. Мы с приятелем вдвоем замедлили за кустами. Я сам видел, как она в ботиках, в хорошем пальто, в нарядной шляпке вошла в море. Был холод, волны совсем небольшие, они уже намочили ее пальто, потом обнимали плечи, потом красноватая шляпка скрылась за ними совсем. Вот так она ушла...»

– Не беспокойся за меня. Внешне все в порядке.

– Но ты оставила хорошую работу, поменяла квартиру, не общаешься с теми, кто есть твои друзья...

– Та работа вымотала меня до последнего. Квартиру мы меняли по семейным обстоятельствам. А те, кто назывался другом, пока у тебя была хорошая работа, и быстро перестал таковым быть, когда ты ушла с нее, – стоят ли они разговора? Вся эта околотультур-мультикультурная графомань... Добавь сюда травлю, которую они мне устроили. Мне ж докладывали, какую грязь, какую клевету льют на меня. Тоже, из лучших побуждений. И это могло дойти до НЕГО. Так, вдруг, не расстаются.

– Если человек ведется на чужое мнение, если не держит своего слова...

– Знаю. Это никчемный человек. Не мужчина. Но разве другие лучше? Все мы ошибаемся. А любовь – взрыв. Опалило, занялось, полыхает. Отчего – дело пятое.

– Ндаа... Внутри огонь, а внешне – все хорошо. Благо, что любовь встречается реже алмазов.

Как-то ненароком она попала в точку. Этот парк Демьяна Бедного... Пляж, старая лодочная станция, кусочек берега, еще никем не захваченный и не загаженный никем. В будни в этом самом месте хорошо дышать в одиночестве, рассматривать море со всеми его изменчивыми подробностями, подкинуть носком туфли цветной камешек. И встретиться с кем-то без посторонних глаз тоже удается.

После апрельских дождей в том году трава взвилась зеленым пламенем, было излишним беспокоить ее, молодую, хотелось дышать свежестью новой листвы. Куст тамариска процвел розовыми шариками, но и этот тонкий флер укрывал от людей. А вот и дощечка, на которую можно присесть.

Звонок мобильного.

– Я уже здесь, иди!

Мир в розовом цвете был чист и светел.

Но странное уже начало происходить. На берегу моря за жидкой стенкой поросли туи.

Где-то грянул оркестр «День Победы». А вдоль кромки шла группа подростков, все ребята и одна девчонка топless. Временами она по-цыгански встряхивала костлявыми плечиками и парни с гоголом хватали трясущееся подобие груди.

Плохое предчувствие занимало душу. Но более сильным было другое, почти физическое ощущение, что два невидимых стража заняли место за моими плечами. И улыбка вспыхнула навстречу идущему:

– Я рада.

А он, человек, от каждого вздоха которого вдруг стала зависеть вся моя жизнь, стал, отведя глаза в сторону, бормотать тихо и полувнятно.

– Я должен уехать... совсем... другие перспективы... будущая жена... квартира...

Женой он назвал другую женщину. Или назовет.

И два небесных стража, два ангела держали эти плечи. Они защищали меня, давая возможность вдохнуть.

И я улыбнулась вновь.

Человек снял очки и спрятал их в нагрудный карман:

– В таких случаях обычно по лицу бьют...

– Обычно? Это обычно?

– Я ухожу. Это решено.

– Решено одним тобой. Ступай.

– А ты?

– А мне надо побыть одной.

Смотрела на его спину с втянутой головой, на длинные ноги в узких джинсах... Перед поворотом остановился, оглянулся, не случилось ли чего?

А со мной все в порядке. Я уже умерла.

...И где-то через полчаса уже я пойду по его следу прочь от розового цвета. И я уже знала, что Всевеликий Бог милосердно посылает ангелов Своих к людям в переломные минуты судьбы. Я уже знала, что ничего худшего не случится.

Возле небольшого памятника воинам-афганцам, средства на который собирали человеки с плачущим сердцем вопреки мнению властей, и смонтированный в ночное время, раздувал медными трубами праздничный марш флотский оркестр. Уже знакомые подростки, уже все в майках, поднесли вялым ветеранам цветы. Вот и Т.Ш. (не хочется расшифровывать инициалы) неподалеку. Стоит, надзирает.

Праздник, не хочется помнить недавних злых стычек с ней. Она же свое не упускает:

– Какие патриоты! Какие патриоты наши молодые ребята!

Перечить ей бесполезно.

– Ну, да, можно и патриотом побыть, раз начальству это нравится. А можно и просто родину любить...

Один из чествуемых повернулся в нашу сторону. Да, да, он, ветхий сморчок с палочкой, бывший начальник лагпункта, от которого наши «мемориальцы» шарахаются.

И девчушка, которая сейчас в майке с изображением ньюйоркских небоскребов впереди ему склабится, и он бы не прочь ее ухватить... И не спросит она с него за своих собственных замордованных в лагерях и на ссылках прабабок. Негламурно. Не знает. Уж Т. Ш. об этом незнании заботится. Так же, как сводничает под надувными сердечками святого Валентина.

Не хочу ее видеть. Ее шестерки уже поздравили сына, сбитого машиной, с Днем пострадавших в автоавариях. Она мстительна.

О чем это я? Ах, да.

Камера. Крупный план.

«...противопожарное состояние соответствует требованиям инструкции...», номер и содержание которой каждый должен знать назубок. По каждому предписанному пункту. Подпись. И так каждое дежурство. Во имя безопасности.

А что мы делаем, чтобы обезопасить несмышленишей на огненном участке?

Тетушке Аглае нездоровится.

– Это все 8 Марта! Я не выношу этих общественных сборищ, да еще в этом холодном ДК, но надо же было с девочками повидаться! Опять же, подарок...

Всего подарка – красная революционная гвоздичка с кульком конфет.

– Ну, неужели я бы тебе цветка не привезла?

А девочки – подружки-пенсионерки, бывшие соседки и сослуживицы.

Целую ее морщинистую щечку над чистейшим вышитым воротником. Забытый запах ее мыла вызывает легкую трепетность.

– Побереги себя, – начинаю свою песню. – Предвыборный политический балаган, а не радость души. Тут у меня эклерчики свежие, пост, но крем легкий, заварной...

Оставляю ее в кресле, собираю чай. Она чуток надулась. Но женщина берет свое.

– Всегда неудобно себя чувствую, когда меня поздравляют с тем, что я – женщина! Скажи в ответ: поздравляю с тем, что вы – мужчина! Обидятся. А нас, значит, можно? Раз в году они это изобразят с притопыванием и прихлопыванием, а потом сидят на шее и грубят круглый год! Каковы лицемеры?

Расскажет ли мне сегодня что-либо о возлюбленном своем, вспоминая святых Аглаю и Вонифатия? Отпустила, де, любимого человека, теперь только душа его рядом...

Но ее развернуло в другую сторону.

– И что эти девочки выдумали? Роза Ефимовна, нуу, ты знаешь эту семью, обеспечены, но мальчики там почти все болезненные, сватает к тебе своего племянника Аркадия! Каково? Короче, отдам в хорошие руки с материальной поддержкой...

– Надеюсь, ты поблагодарила Розу Ефимовну?

– А тут Ниночка встряла в разговор, едва Розу Ефимовну не обидела! Говорит, у меня племянник в самом Внештрансе водилой работает. Пьет только дома, зарабатывает хорошенько, и, что важно, мужское здоровье ого-го!

– Надеюсь, ты поблагодарила Ниночку?

– Но тут встряла Викторевна! У них, в группе «Здоровье», весьма интеллигентный гуру. Все книги перечитал, все истолковывает. На баяне играет! Хлипковат, но какие-то мудреные гороскопы совпадают...

– Откуда столько барахла со сватями и советчицами? Я и так живу хорошо, у меня все есть. Надеюсь, ты поблаго...

– А я еще круче! Сашенька Гришин уходит в запас и возвращается сюда, к маменьке Лидии Сергеевне. Звание! Квартира! Пенсия!

Она торжествует.

– Ах, Аглая, Аглая, и это не мой Вонифатий!

Она долго молчит, ставит на блюдечко допитую чашку.

– Права ты только в одном случае, если твой Вонифатий живым в сердце горит. Даже после смерти.

Опускаю глаза.

– Что происходит? Почему он не видит, что отдает меня на муку?

Припоминает что-то...

– Что мне в моем погибшем имени?.. Кляни меня, но не гони меня. Убей, но не гони меня... Так, кажется, у Тарковского... Так просто!

Ее слезы не капают, падают. Отвесно. Редкие. Крупные. Одна за одной.

Достаю НЗ – фляжку с коньяком. Подливаю в кофе. Только бы она выдержала это.

– До этого, оказывается, я всего лишь влюблялась...

– Ты помнишь тот год, когда этот мелкий глупец меня бросил? Ну, я еще ушла работать в котельную?

– Кажется, что-то было...

– Теперь я тебе говорю: радуйся! Безответная любовь – диамант преображения человека. Сначала погаснет страсть. Это – год, два, три. Но если ты согласишься и пронесешь сквозь сжигающую страсть саму любовь – станешь иной.

Смотри, сколько людей вокруг! Мельтешат, развлекаются, хотят спать, жрать, размножаться, не слишком утрудив себя, изворачиваются, лгут сами и оттого верят раскрашенным фальшивкам. И Бог смотрит на них. Достойны ли они огромного святого Дара? Нет. Поэтому любовь режет алмазов. И кому даровано – молчалив.

А желание обладать – из дешевых рекламных бумажек. И девицы попискивают «ах-ах, хочется и мне!» А все обмануто, потому что все навязано, чтобы сделать из нас обслуживающий персонал, производственный фарш. Зачем нам суррогатная морковка? Мы – настоящие, а любовь – тяжелейшее червонное золото награды за все предыдущее, за твою человеческую состоятельность.

Ты помнишь, откуда эта фляга? Твоя память ничего не говорит тебе? Эти дороги Чечни, расстрелы Абхазии? Вот это – правда. И это твоё достоинство. Хотя мы женщины, сосуды слабые, хрупкие.

Но человек, не сдавший экзамен на звание «мужчина», не поймет, что есть истинная женщина! Вернется, – значит, достоин твоей любви и человек есть. А не смог взять эту высоту, то он всего лишь предлог, буквица на новом, чистом свитке, на котором ты будешь писать сама новые события своей жизни, вдруг вспыхнувшей всеми лучами, всеми красками, радостями, музыкой. Оглянись, сколько вокруг глухих и слепых? Они готовы принять фонарь за звезду! Теперь весь мир твой. Понимаешь? И твоя огромная боль будет иной. И, преображенная, ты увидишь, какое это счастье – нести любовь! Счастье и Крест. Солнце над головой твоей. Твое солнце!

## Рассказы маленького человека

### Все будет как надо Рождественский рассказ

С того момента, как в деревню провели свет и радио, все вставали по команде Москвы: в шесть утра динамики «Север» дружно откашливались во всех избах и тягучая мелодия советского гимна нарушала покой. Бабка, покряхтывая, сползала с печки, привычно крестилась на образа и принималась за наше нехитрое хозяйство: печку топить, пироги лепить, супу варить. Сердито говорила: «Спи, рано еще», – и выключала радио. Но мелодия была уже столь знакома и привычна, что даже подбирались слова к ее переливам: «Все будет как надо и даже получше, и дядя Лисей нам письмо принесет...»

– Ты утром поешь под радио? – Спросил как-то троюродный брат Юрка, его тоже родители оставили бабке в деревне, подавшись «на городские хлеба».

Хмыкнул на мое сочинение и выдал свое:

– Живем мы полезно, и путь наш железный, и дедушка Ленин нам жизнь указал...

Спорить с ним было себе на голову. Во-первых, он не умел слушать, считая, что раз он на целый год старше, то всякие мелкие сестренки просто обязаны думать так же, во-вторых, в политику в деревне не вязывались, как никогда не спорили с парторгом Мурзаевым, послушают-послушают, да и спровадят. Это с председателем Климкиным спорили как хотели по всем делам хозяйственным, а потом провожали до порога уважительно. А вот про политику спорить было нельзя, таков был негласный деревенский закон. В-третьих, если с Юркой спорить, то он может просто не прийти к нам, а без него было скучно... И про железный путь он не просто так сочинил, мечтал, как вырастет, на железной дороге работать, да не кем-нибудь – машинистом. Намерение у него было серьезное и требовало соответствующего отношения:

– Я тебя на паровозе бесплатно катать буду!

Меня вечно сместили его девчачьи чулки на резиночках, но то, как он снимал валенки у двери и аккуратно завязывал никогда не забываемые башмачки из сукна «в Питере купленные», подходил к столу с шипящим самоваром и, отвесив бабушке поклон как хозяйке, солидно надламывал предложенный пирожок, вызывало уважение. Его привечали, и внеочередное угощенье в виде конфет он получал всегда. Самому ему конфет не покупали: у его бабушки Нюры была самая маленькая колхозная пенсия в семнадцать рублей, отец «пил на заводе-то» и денег на сына не высылал, мать бросила отца, а заодно и сына, «смылась в севера с хахалем». Короче, Юрка был почти сирота, и потому конфеты предлагались, даже если они были последние перед праздником.

Но в этот раз конфеты были совсем не последние. Мало того, что тетка Антонина из Питера посылку к праздничку прислала, так и в сельпо товар завезли, почтальон Елисей привез на лыжах такую радостную новость. Завидев Елисея, старухи собирались в нашей избе: выпрашивали подробно, что за товар, сколь стоит. От чая Елисей не отказывался никогда, валенки он оставлял за порогом, чтоб «не нагрелись, да не посырели снегом», сидел в красном углу, раздавая деревенским корреспонденцию и заказанные маленькие покупочки – мыло, нитки, тетрадки для писем. Пил чай, а по доставке пенсии и «маленькую», рассказывал последние колхозные и районные новости. Декабрь вышел обильным на снег, дорожки на дальние деревеньки замело подчистую, и только Елисей на лыжах мог доставить туда и оттуда известие.

В Новый год бушевала метель. Сидели под ветром по избам, радио играло глупые песенки про какие-то непереносимые разлуки и черного кота за углом, от которого у городских выхо-

дило такое невезение, словно он пережрал всю копченую колбасу, которой в письме бабушка просила прислать к праздничку, но ей отвечали, что нет в магазинах. Накануне Елисей принес поздравительные письма и открытки. Тетя Антонина писала, что живут хорошо, и она отдала сына в спецшколу, тетя Галя писала, что здоровье хорошее, и она купила новое пальто, только от матери письма так и не было...

Это была особенная детская тоска по матери: нет ее – и вся жизнь ожидание: когда вернется? Не один месяц обернулся в небе полной луной и вновь стал месяцем, а от нее – ни слуху, ни духу... Сколько раз замечалось потом с болью, что любящим, заботливым матерям мало достается тепла и ласки выросших детей, всю их любовь они принимают как должное и не спешат отплатить тем же. А вот «непутевых» любят до нервной дрожи: мало видит малыш заботы и умеет ценить редкое и дорогое... Так и было: высматривала Елисея из окошка в холодной неотапливаемой спальне, мерзла ожидаючи, пела утром, что письмо все же придет, но она как забыла про нас.

Не радовала даже елка с игрушками, которую Елисей не забыл срубить в ближнем перелеске. И спать легли рано. Ночью проснулись от странного поведения кота Васьки: забился на печь и сидел в углу с толстым от злости хвостом. Свет бабуля включать не стала, обошла тихонько избу, подозвала к окну:

– Гляди-ко, у колодца...

У колодца на светлом и в темноте снеге виднелись две большие чужие собаки с поджатыми хвостами.

– Волки, – уточнила бабуля. – Дожили, что уж и волки по деревне как у себя дома ходят...

Но страха не было: волки – так волки, вон, давеча Елисей про медведя такие страсти рассказывал!

После метели подкатил в деревню на тракторе председатель Клишкин, поздравил престарелых работниц своих с прошедшим Новым годом и наступающим Рождеством, словно извинялся, что не мог сам хорошую погоду устроить, сообщил между тем, что помимо конфет завезли в сельпо и мануфактуру, а сам он сейчас на тракторе туда и поедет. Бывшую лучшую полеводческую бригаду из старух нашей деревни уговаривать необходимости не было, быстро погрузились в прицеп и отбыли за покупками. Юрку-то взяли с собой, а вот меня оставили дома.

– За хозяйством не всякий правильно смотреть может, – пояснила бабуля.

Обратно они вернулись по проложенной в сугробах колее тоже быстро. Бабка привела и сестру свою, бабу Лизавету, которую все, включая собственных правнуков, звали просто Лизанькой. Любили Лизаньку тоже все: другой такой озорницы при всех ее почтенных годах по всем окрестным деревням искать было бесполезно. Пока бабка раскладывала покупки по кухонным полкам и кладовой, Лизанька, Елисей и Катерина Ивановна задумали у самовара и вовсе чудное: пусть ребята, то есть мы с Юркой, Рождество встретят по-старому. «Не то с ума вы все тут с тоски соскочите, мало вам последнюю дорогу снегом заваливает, так уж на людей скоро гавкать по дикости начнете», – уточнила Лизанька.

Канун еще неведомого советскому ребенку Рождества начинался и вовсе скучно. Лизанька с бабулей возились с тестом, готовили разные начинки для пирогов, перебирали снедь для праздничного ужина после поста – разговеться. Сами поели только пшенной каши со жженым сахаром, но мне выдали густой компот из сушеной груши на меду. Обьедаенье! Печь истопили поздно, уж Катерина Ивановна пришла с заказанной сметаной (у бабули своей коровы уже не было), а березовые дрова еще думали загораться.

– А я уж дорожку до старой часовни вычистила. – Похвалилась Катерина Ивановна. – Ребята пойдут ровнехонько по дорожке.

Последнее ее замечание показалось интересным: куда мы можем пойти? Не на елку же в сельсовет за семнадцать километров?

– Вот и фонарь нашенский, старый на чердаке выискала, – продолжила гостя, – да стекло в нем нету, и железочки уж серебряной бумажкой от чая обернуть надо. У нас нету, я все маме травки, отвары для леченья делала, и сама их пить стала, чаю уж не брала давно...

Лечились в нашем медвежьем углу старыми проверенными методами: парились на снопах в баньке, растирались жиром, пили отвары, да настойки. У Катерины Ивановны, самой молодой в деревне, хворала параличом мать, врач, как-то приехавший из района, сказал, что улучшения ожидать вряд ли стоит, но Катерина Ивановна не сдавалась, применила все деревенские премудрости, и лежащей пластом старухе полегчало: задвигалась рука, стала переворачиваться с боку на бок в постели.

Лизанька проверила фонарь, показала и мне его металлические пруточки, после чего ловко насадила штуку на палку, крепко скрутила развалюху проволокой и наказала обмотать все полосками бумаги от чая. Катерина Ивановна согласно кивнула головой, посчитав свою миссию выполненной. Нашла Лизанька и аптечный пузырек в сарае, налила простого масла, протащила сквозь какую-то железку фитилек, подожгла: как горит? В ее умелых руках вещи становились послушными, фитилек горел ровно. Она еще чего-то оправила и вновь проволокой прикрутила пузырек на место в фонаре на палке.

– Ветром задует, – раскритиковала все бабка. Однако из старой плетенки в голбце достала круглое стекло керосиновой лампы с отбитым концом. – Что ругалась, мол, всякую рухлядь хранишь, – напустилась на Лизаньку, – а вот и пригодилось!

– Песенки-то успеют выучить? – Поинтересовалась Катерина Ивановна напоследок.

С песенками, как тут же выяснила Лизанька, был полный беспорядок, из тех, что я знала, не было ни одной подходящей. Бабка возилась у печи, а ее сестренка тут же рассказала и что делать, и что говорить, и что петь. После чего пошла с фанерной лопатой на улицу откинуть снег.

К вечеру и вовсе есть захотелось, но бабуля с Лизанькой все вкусное упрятали в поставец. И лежали там сами по себе и пирожки с луком и рубленой бараниной, и селедка с полосками икры, и творожники с присылаемым ванильным сахаром...

Пришел Юрка со старой цветастой наволочкой под мышкой.

– Ну че, собралась?

Лизанька с бабулей вышли на порог проводить нас. Бабушка подожгла от спички фитилек, накрыла тонюсенькое пламя стеклом и наказала держать нарядный фонарь ровно или, чуть что, сразу бросать в снег.

– А звезда есть? – тревожно поинтересовалась Лизанька.

Но в темном небе как на грех не было ни единой звездочки.

– Нехорошо это. – Промолвила вновь Лизанька. – Младенец еще не пришел, а мы уж праздничком занимаемся, и детей на грех толкаем...

Непонятно было, что за Младенец, который уже ходит, как он может прийти в нашу дальнюю деревеньку, ежели все дорожки замело, но у бабули были свои доводы:

– Пока всех обойдут – будет звезда! Только вы, детвора, все по уставу делайте, а в рот ничего не берите, иначе грех будет...

Они еще стояли у крылечка, пока мы не скрылись за поворотом прокопанной в высоких сугробах дорожки. За поворотом уж приветливо светила окошками изба Катерины Ивановны, к ней и направились первой.

Войдя в натопленную избу как учено, поклонились на образа, поклонились лежащей на высокой постели больной бабушке Ирине, маме Катерины Ивановны, потом самой Катерине Ивановне. Юрка мялся в нерешительности, и пришлось взять все на себя.

– Христос родился, Ирод замутился, Иуда удавился, мир возвеселился!

Собственный и без того писклявый голосок еле звучал от волнения. Но старуха с высокой кровати с большими шарами кивнула благосклонно, а Катерина Ивановна и вовсе не переставала улыбаться. Тут набрался храбрости и Юрка:

– ...окануне Рождества приходила коляда Катеринина двора... – запел какую-то окоlesiцу. – Кто не даст пирога – заломлю ворота, кто не даст лепешки – выломлю окошки!

Эта его песенка вовсе походила на грубость. Но старухи-хозяйки были так же приветливы.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.